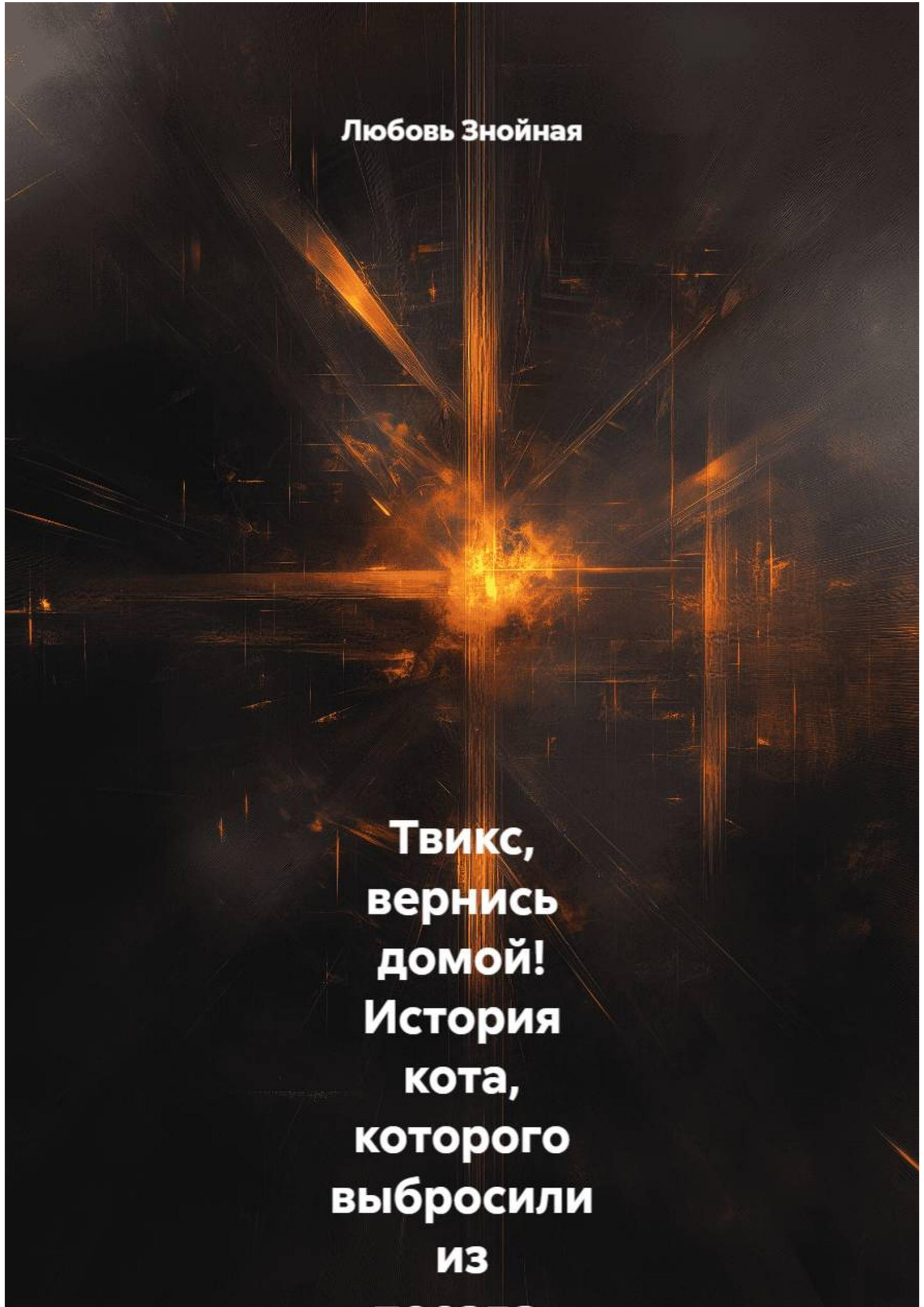




Любовь Знойная

**Твикс,
вернись
домой!
История
кота,
которого
выбросили
из**

Любовь Знойная

**Твикс, вернись домой! История
кота, которого выбросили из
поезда, и девочки, которая не
перестала верить. Маленькая
девочка, потерянный кот и чудо,
которое случилось вопреки всему**

«Автор»

2026

Знойная Л.

Твикс, вернись домой! История кота, которого выбросили из поезда, и девочки, которая не перестала верить. Маленькая девочка, потерянный кот и чудо, которое случилось вопреки всему
/ Л. Знойная — «Автор», 2026

Эта книга — о девочке, коте и зиме, которая чуть не разлучила их навсегда. Саше девять лет. Она боится темноты, снов и одиночества. Её единственный друг — кот Твикс, подобранный на улице. Он спит с ней, ждёт её из школы и мурчит, когда ей страшно. Но однажды они едут поездом в другой город. Ночью Твикс выбирается из переноски. Проводница решает, что он бездомный. На глухой станции его выбрасывают на мороз. Саша не знает об этом. Она спит. А утром начинается самый страшный день её жизни. Она ищет Твикса. Плачет. Кричит. Отказывается верить, что он погиб. Взрослые говорят: «Успокойся. Это всего лишь кот». Но Саша знает: это не «всего лишь». Это её друг. Это роман о боли и надежде. О равнодушии и доброте. О том, что иногда чудо случается с теми, кто не перестаёт ждать. О том, что добрых людей всё-таки больше. И о том, что дом — это не место. Это тот, кто тебя ждёт. Все персонажи вымышлены. Совпадения случайны. История вдохновлена реальными событиями, но финал — авторский.

© Знойная Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Твикс, вернись домой! История кота, которого выбросили из поезда, и девочки, которая не перестала верить. Маленькая девочка, потерянный кот и чудо, которое случилось вопреки всему

Глава

ПРЕДИСЛОВИЕ (от Саши, спустя годы)

Когда мне было девять, я потеряла своего кота.

Его звали Твикс. Он был серый, с белой грудкой и зелёными глазами. Я нашла его на улице, когда он был совсем маленьким. Он дрожал, был голодный и больной. Я принесла его домой и сказала маме: «Он останется». Мама вздохнула, но не прогнала его. Так Твикс стал моим.

Он спал со мной. Ждал меня из школы. Мурчал, когда мне было страшно. А мне было страшно часто. После того как папа ушёл, я боялась темноты, шума, одиночества. Твикс был моим лекарством. Моим солнцем. Моим другом.

А потом мы поехали в другой город. Ночью Твикс выбрался из переноски. Я спала и не знала, что в это время решается всё. На глухой станции его выбросили на мороз. Я узнала об этом утром. И с этого утра начался мой самый длинный январь.

Я плакала. Я кричала. Я не верила. Взрослые говорили: «Успокойся. Это просто кот». Но это был не просто кот. Это был Твикс. Он не мог умереть. Он не мог бросить меня. Я знала, что он жив. Я чувствовала это. И я искала.

Эта книга — про то, как я искала. Про добрых людей, которые помогали. Про злых, которые смеялись. Про маму, которая устала, но не сдалась. Про бабу Нюру, которая спасла Твикса. Про Леру, которая стала моей подругой. Про дядю Петю, который не закрыл глаза. Про всех, кто верил вместе со мной.

Я пишу это спустя много лет. Твикс уже старенький. Он спит на подоконнике и мурчит. Но я до сих пор помню тот холод. Тот страх. Ту пустоту. И то чудо, которое случилось.

Я пишу эту книгу для всех, кто потерял. Для всех, кто ждёт. Для всех, кто не перестаёт верить. Пусть у вас всё закончится хорошо. Как у нас с Твиксом.

Он вернулся. Я знала. Я всегда знала.

РОМАН: «ТВИКС, ВЕРНИСЬ ДОМОЙ»

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «КОТ С ОБМОРОЖЕННЫМ УХОМ»

Осень в тот год выдалась на редкость промозглой, сырой и какой-то безнадежно серой, словно сама природа, утомлённая долгим жарким летом, решила поскорее укутаться в тяжёлые, низкие тучи и забыть о солнечном тепле до самой весны, до того самого дня, когда первые робкие лучи снова коснутся озябшей земли. Первый снег, выпавший ещё в начале октября, растаял так же быстро, как и появился, оставив после себя лишь грязную, хлюпающую под ногами кашу, которая противно липла к подошвам ботинок и заставляла редких прохожих морщиться, втягивать головы в плечи и ускорять шаг, чтобы поскорее добраться до тёплых, освещённых подъездов, где пахло сыростью, кошками и чужой, но всё-таки жизнью.

Саша шла из школы одна, как и всегда, и в этой привычной, давно уже не пугающей, но всё ещё ноющей одинокости было что-то такое, к чему она успела привыкнуть за последние два года, но что так и не стало для неё нормой, не перестало причинять тихую, глухую боль где-то глубоко под рёбрами, там, где обычно живёт то самое чувство, которое взрослые называют одиночеством, а дети просто ощущают как холодок внутри, не дающий ни согреться, ни уснуть спокойно, ни поверить, что завтра будет лучше, чем вчера.

Ей было девять лет. Девять — это возраст, когда мир ещё кажется огромным, полным чудес и открытий, когда каждый день приносит что-то новое, а будущее представляется бесконечной, сверкающей лентой, по которой можно идти и идти, не зная усталости, не зная страха, не зная разочарований. Но Саша была не такой, как другие дети. Она была маленькой — настолько маленькой и хрупкой, что её часто принимали за первоклассницу, а то и вовсе за детсадовку, и она давно перестала обижаться на это, потому что обида требовала сил, а сил у неё оставалось всё меньше и меньше с каждым днём. Худенькая, с тонкими, как пруттики, ручками, с острыми лопатками, которые предательски проступали сквозь любую кофточку, с бледным, почти прозрачным лицом, на котором выделялись лишь огромные, широко распахнутые серо-голубые глаза — такие глаза бывают у детей, которые слишком рано узнали, что мир не всегда добр, но всё ещё, вопреки всему, продолжают искать в нём свет.

Волосы у неё были светлые, почти льняные, тонкие и пушистые, как одуванчиковый пух, и она постоянно заплетала их в две жиденькие косички, которые торчали в разные стороны и придавали ей вид ещё более беззащитный, чем она была на самом деле. Носила она одну и ту же куртку — старенькую, выцветшую, когда-то синюю, а теперь ставшую мутно-серой, с оторванной нижней пуговицей и зашитым грубыми нитками рукавом. Куртка была ей велика — мама купила её на вырост, когда Саше было семь, и с тех пор она так и висела на её худеньких плечиках, как чужая, добавляя её облику что-то трогательное и одновременно щемящее, как будто эта маленькая девочка пыталась спрятаться в одежде от всего мира, но мир всё равно находил её, добирался до неё, заставлял чувствовать.

Мама Саши, Наталья Сергеевна, работала медсестрой в городской поликлинике — работа тяжёлая, неблагодарная, плохо оплачиваемая, но другая работа им была недоступна, потому что Наталья не имела ни высшего образования, ни связей, ни времени, чтобы искать что-то лучшее. Ей было тридцать четыре года, но выглядела она старше — усталое, осунувшееся лицо, ранние морщинки вокруг глаз, потрескавшиеся от постоянного мытья рук и дезинфекции ладони, волосы, крашенные дешёвой краской в тусклый каштановый цвет, которые она стягивала в тугий пучок на затылке, потому что распущенные волосы мешали работать. Она была высокой и худой, с прямой спиной и той особенной осанкой, которая бывает у людей, привыкших держаться, несмотря ни на что, и не сдаваться, даже когда силы давно уже на исходе. В её глазах — таких же серо-голубых, как у Саши, только потухших, уставших, повидавших слишком много чужой боли, — читалась та тихая, упрямая решимость, которая помо-

гает людям выживать в самых тяжёлых условиях и которая передаётся детям вместе с генами, вместе с молоком матери, вместе с первым вздохом.

Муж Натальи, отец Саши, ушёл из семьи два года назад — просто собрал вещи, сказал, что устал, что не может больше, что хочет жить для себя, и ушёл в неизвестном направлении, оставив после себя пустоту, которая заполнила всю квартиру, все уголки, все щели, и которую Саша с мамой так и не смогли ничем заполнить. С тех пор Саша почти не спала по ночам — ей снились тревожные, тяжёлые сны, в которых отец уходил от неё по длинному, тёмному коридору, а она бежала за ним, но не могла догнать, не могла крикнуть, не могла даже пошевелиться, и просыпалась в холодном поту, с колотящимся сердцем, с ощущением, что мир рушится, а она не может ничего сделать, чтобы его удержать. Она боялась темноты — той густой, вязкой темноты, которая приходила по вечерам и заполняла комнату, как чёрная вода заполняет тонущий корабль. Она боялась громких звуков — особенно тех, которые напоминали хлопок двери, потому что именно так звучал тот момент, когда отец ушёл. Она боялась оставаться одна — а оставалась она одна почти всегда, потому что мама работала до восьми, а иногда и до девяти, и Саша сама открывала дверь своей маленькой квартиры, сама разогревала вчерашний суп, сама садилась за уроки, сама ложилась спать в пустой комнате, где тишина звенела так громко, что казалось, будто она вот-вот разорвёт перепонки и заполнит собой всё пространство, не оставив места ни для чего другого.

Она никогда не жаловалась. Ни маме, ни бабушке, которая звонила раз в неделю из далёкого северного городка и говорила одно и то же — «держись, Сашенька, всё будет хорошо», — ни редким подругам, которые давно перестали звать её гулять, потому что у них были свои компании, свои секреты, свои маленькие миры, куда Саше доступа не было и, честно говоря, уже не хотелось. Она просто жила — тихо, незаметно, привычно. Как живут многие дети, у которых детство закончилось чуть раньше положенного срока и которые научились не показывать, как им на самом деле страшно и одиноко, научились улыбаться, когда хочется плакать, научились молчать, когда хочется кричать, научились быть сильными, когда на самом деле хочется просто уткнуться в чьё-то тёплое плечо и забыть обо всём.

В тот день — а это была пятница, последний учебный день недели, который все дети ждут с нетерпением, потому что впереди выходные, свобода, возможность поспать подольше и заняться тем, чем хочется, — Саша шла домой особенно медленно. В школе было плохо. Не то чтобы её обижали — нет, физически её никто не трогал, — но было что-то другое, более тонкое и более болезненное. На перемене девочки из её класса собрались в кружок и о чём-то шептались, а когда Саша подошла, замолчали и посмотрели на неё такими глазами, будто она была чужой, лишней, ненужной. На уроке рисования учительница похвалила её рисунок — серого кота, сидящего на подоконнике и смотрящего в окно, — но никто из одноклассников не сказал ни слова, не подошёл, не посмотрел, и Саша почувствовала себя такой одинокой, такой невидимой, такой прозрачной, что захотелось просто исчезнуть, раствориться в воздухе, перестать быть.

Она брела по улице, не глядя по сторонам, уставившись в мокрый, грязный асфальт, по которому текли тонкие ручейки талого снега, и думала о том, что дома её ждёт пустая, холодная квартира, что мама придёт только поздно вечером, уставшая и молчаливая, что уроки придётся делать самой, что ужин будет состоять из вчерашней гречки с котлетой, которую она разогреет в микроволновке, и что вечер снова будет тянуться медленно, как резина, наполненный тишиной и одиночеством. Она думала об отце — где он сейчас, что делает, помнит ли о ней, — и от

этих мыслей становилось ещё тяжелее, потому что ответов не было, а вопросы жгли изнутри, как маленькие угольки, которые никак не погаснуть.

И именно в этот момент — когда она была погружена в свои невесёлые мысли, когда мир казался ей серым и холодным, когда ничего не предвещало никаких перемен, — она увидела его. Маленький комок серой, свалявшейся шерсти сидел у старых, обшарпанных мусорных баков, стоявших на углу двора, там, где асфальт давно потрескался и пророс жиденькой, бледной травой, там, где фонарь по вечерам мигал так, будто сам не был уверен, стоит ли ему светить в этом забытом всеми уголке города. Кот сидел, прижавшись к холодному металлу бака, и дрожал так сильно, что, казалось, каждая косточка в его крошечном теле стучит друг о друга, издавая едва слышный, но отчаянный, леденящий душу звук.

Одно ухо было прижато к голове — так делают все коты, когда им страшно или больно. Другое ухо беспомощно торчало в сторону, и именно оно, это ухо, чёрное, обмороженное, покрытое тонкой корочкой льда и инея, заставило Сашу остановиться так резко, словно кто-то невидимый схватил её за плечо и развернул лицом к этому маленькому, умирающему, никому не нужному существу. Она замерла. Она смотрела на него, и внутри неё что-то происходило — что-то странное, сильное, необъяснимое. Как будто весь мир вдруг сузился до размеров этого маленького серого комка, и всё, что имело значение, свелось к одному простому вопросу: что делать?

Саша не понимала, почему подошла. Не думала ни о том, что скажет мама — а мама скажет «нет», это она знала точно, — ни о том, что дома нет лишней еды, ни о том, что у неё самой нет ни сил, ни времени, ни уверенности в завтрашнем дне, ни о том, что такое решение потребует от неё больше, чем она, возможно, способна дать. Она просто подошла. Медленно, осторожно, стараясь не дышать громко, стараясь не испугать, стараясь не сделать ни одного резкого движения, которое могло бы заставить испуганное животное убежать. Присела на корточки, не обращая внимания на холод, который мгновенно проник сквозь тонкие колготки и обжёг колени. Протянула руку — маленькую, худую, с обкусанными ногтями и покрасневшими от холода пальцами. Кот не убежал. Он посмотрел на неё — долго, внимательно, так, как смотрят на мир только те, кто уже потерял всякую надежду, но всё ещё, вопреки всему, продолжает ждать чуда. Глаза у него были зелёные — яркие, живые, невероятные на этом измученном, полужамёрзшем лице, — и в них было столько боли, столько страха и столько отчаянной, ни на что не опирающейся веры, что Саша почувствовала, как что-то внутри неё сжалось, сломалось, перевернулось и уже никогда больше не станет прежним.

Он мяукнул. Тихо, жалобно, едва слышно — но этот звук пронзил её насквозь, как пронзает тишину осеннего леса одинокий крик потерявшейся птицы. И Саша поняла — не умом, не логикой, а чем-то гораздо более глубоким и древним, что живёт в каждом человеке с самого рождения и просыпается только в самые важные моменты. Это её кот. Не чей-то чужой, не случайно встреченный, не временный. Её. Навсегда. На всю жизнь. До самого конца.

Она сняла куртку — ту самую старенькую, выцветшую, с оторванной пуговицей и зашитым рукавом, — и бережно, как величайшую драгоценность в мире, завернула в неё дрожащий комок серой шерсти. Кот не сопротивлялся. Он прижался к ней всем своим маленьким телом, уткнулся холодным носом в её худенькое плечо и затих, словно наконец понял, что его больше не обидят, не прогонят, не оставят умирать в этом холодном, равнодушном мире, где так много боли и так мало тепла. Саша прижала его к груди — крепко, так крепко, как только могли прижать худые девятилетние руки, — и понесла домой. Она не знала, что будет

завтра. Не знала, что скажет мама. Не знала, где взять денег на еду, на лекарства, на всё то, что нужно маленькому, больному, обмороженному существу. Она просто несла. И в этом простом действии было больше смысла, больше любви и больше человечности, чем во всех взрослых решениях, которые она слышала за свою недолгую жизнь.

Дома было темно и холодно. Мама ещё не вернулась. Саша прошла на кухню, включила свет, положила кота на старую, вытертую клеёнку, которой была застелена кухонная тумбочка. Кот лежал, не двигаясь, и только его бока тяжело вздымались — вверх-вниз, вверх-вниз, — с каждым вдохом словно подтверждая, что он ещё жив, что он ещё здесь, что он ещё борется. Саша налила в блюдце молока — последнее, что было в холодильнике, — и поставила перед ним. Кот не двинулся. Она поднесла блюдце ближе, почти к самой его морде. Он понюхал — слабо, едва-едва, — и потом, словно собирая последние силы, поднял голову и начал пить. Жадно, давясь, захлёбываясь, как будто не ел неделю, как будто каждый глоток молока был для него величайшим сокровищем, как будто это молоко было самой жизнью. Саша смотрела на него и плакала. Тихо, беззвучно, чтобы не испугать, — просто слёзы текли по щекам, и она не вытирала их, потому что не было сил, потому что не было смысла, потому что это было сильнее её.

Кот напился. Потом он посмотрел на неё — снова, снова эти невозможные зелёные глаза, — и медленно, тяжело, словно каждый шаг давался ему с огромным трудом, подошёл к её руке и уткнулся в неё мордой. Саша почувствовала, как что-то мокрое и тёплое коснулось её пальцев — он лизнул её. Один раз. Слабый, неуверенный, но такой благодарный жест, что сердце Саши разорвалось на тысячу маленьких кусочков и собралось заново — уже другим, большим, способным вместить в себя гораздо больше любви, чем раньше. Она взяла его на руки, прижала к себе, понесла в комнату. Постелила на своей кровати старое махровое полотенце — единственное, которое было не жалко, — и положила его туда. Кот свернулся клубочком, закрыл глаза и почти сразу заснул — глубоким, тяжёлым, целебным сном, который бывает только у тех, кто наконец-то оказался в безопасности.

Мама пришла в девять. Уставшая, замёрзшая, с сумками, набитыми продуктами, которые она купила по дороге домой. Она вошла, сняла сапоги, повесила пальто, прошла в комнату — и остановилась. На кровати, на старом полотенце, спал кот. Маленький, серый, с белой грудкой и чёрным, обмороженным ухом. Саша сидела рядом на полу — на холодном, жёстком полу, — и смотрела на него, не отрываясь. Она не слышала, как вошла мама. Она вообще ничего не слышала — она была там, с ним, в своём маленьком мире, где было тепло и спокойно, где не было страха и одиночества.

Наталья Сергеевна замерла в дверях. Она смотрела на эту картину — свою худенькую, бледную дочь, сидящую на полу у кровати, и маленького, дрожащего, обмороженного кота, спящего на её полотенце, — и чувствовала, как привычное, отработанное за годы одиночества и борьбы «нет» застревает где-то в горле, превращаясь во что-то другое, тяжёлое, неохотное, но всё-таки «да». Она не хотела этого кота. Не хотела лишних забот, лишних расходов, лишней ответственности. Но она видела глаза дочери — и в этих глазах было столько надежды, столько мольбы и столько той детской, чистой, ничем не замутнённой любви, которую она давно не видела в них, что сдалась. Не сразу. С тяжёлым вздохом, с ворчанием, с привычными словами о том, что денег нет, что времени нет, что сил нет, — но сдалась. И в этом неохотном, вымученном согласии было больше материнской любви, чем в сотне громких признаний.

Она назвала его Твикс. Потому что он был серый — как обёртка от того самого шоколада, который она видела в магазине, но который они никогда не покупали, потому что он был слишком дорогим для их скромного бюджета. И потому что он был сладкий — не на вкус, конечно, а на ощущение, на чувство, на то тепло, которое разливалось по всему телу, когда он прижимался к ней, когда мурчал, когда смотрел на неё своими невозможными, всепонимающими зелёными глазами. Твикс. Простое имя, в котором было всё: и шоколад, и сладость, и мечта, и надежда, и любовь — всё то, чего так не хватало в их маленькой, холодной, неудобной жизни.

В тот вечер Саша впервые за долгое время уснула спокойно. Без снов. Без страхов. Без темноты, которая обычно подступала со всех сторон и душила, не давая вздохнуть. Твикс спал рядом — на подушке, свернувшись клубочком, прижавшись к её щеке тёплым боком. Он мурчал. Тихо, нежно, ровно. И это мурчание было как колыбельная, как молитва, как обещание, что всё будет хорошо. Саша закрыла глаза и позволила себе впервые за долгое время просто быть — маленькой девочкой, которой не страшно, потому что рядом кто-то есть. Кто-то, кто её любит. Кто-то, кто её ждёт. Кто-то, кто никогда её не бросит.

Она не знала, что ждёт их впереди. Не знала, что через несколько месяцев этот маленький, дрожащий, обмороженный кот станет причиной самых страшных дней её жизни. Не знала, что ей придётся столкнуться с равнодушием, с жестокостью, с холодом, который будет не только на улице, но и в сердцах людей. Не знала, что ей придётся бороться — отчаянно, безнадежно, вопреки всему — за право быть с тем, кого она полюбила всем своим маленьким, израненным сердцем.

Но она знала другое. Знала, что не отдаст его. Никому. Никогда. Что будет бороться. Что будет искать. Что будет ждать. И что однажды — она была в этом уверена так же твёрдо, как в том, что небо синее, а снег холодный, — они снова будут вместе. Потому что любовь — это не просто слово. Это сила. Это свет. Это то, что освещает даже самые тёмные, самые холодные, самые безнадежные ночи.

И этой силы, этого света, этой любви в маленьком сердце девятилетней девочки было больше, чем во всём остальном мире.

РОМАН: «ТВИКС, ВЕРНИСЬ ДОМОЙ»

ГЛАВА ВТОРАЯ. «СЕРДЦЕ, КОТОРОЕ НАУЧИЛОСЬ БИТЬСЯ»

Прошло три месяца, и за это время маленький обмороженный комочек серой шерсти, которого Саша принесла домой в промозглый октябрьский вечер, превратился в настоящего члена семьи — не в того жалкого, дрожащего зверька, что сидел когда-то у мусорных баков и смотрел на мир глазами, полными боли и отчаяния, а в существо, которое наполнило их маленькую, холодную квартиру теплом, светом и смыслом, которого так не хватало обоим — и девочке, и её уставшей, измученной работой и одиночеством матери.

Твикс оказался не просто котом. Он оказался другом — настоящим, верным, преданным, таким, каких у Саши никогда не было и, честно говоря, уже не надеялась она обрести. Он ждал её из школы каждый день, и это ожидание стало для Саши тем якорем, тем ориентиром, той единственной ниточкой, которая связывала её с миром и не давала окончательно утонуть в серой, беспросветной тоске, которая подступала к ней всё ближе с каждым днём. Он сидел на подоконнике — маленький, пушистый, с белой грудкой, которая смешно топорщилась, когда он вытягивался, чтобы посмотреть в окно, — и смотрел на улицу своими невозможными зелёными глазами, словно сканируя пространство в поисках единственного человека, который был

ему по-настоящему дорог. И когда Саша появлялась во дворе — маленькая фигурка в старенькой, выцветшей куртке, с двумя жиденькими косичками, торчащими в разные стороны, — Твикс мгновенно прыгивал с подоконника, мчался к двери и садился прямо напротив неё, подрагивая от нетерпения и издавая тихие, вопросительные, полные радости мяуканья. Она открывала дверь — и он был там. Всегда. Каждый день. Без исключений. И это постоянство, эта неизменность, эта верность были для Саши чем-то большим, чем просто кошачья привычка — это было доказательством того, что в мире всё ещё существует что-то надёжное, что-то настоящее, что-то, что не исчезает, не предаёт, не уходит без объяснения причин.

Он спал с ней каждую ночь — на подушке, свернувшись в тугой пушистый клубочек, прижавшись к её щеке тёплым боком, и его мурчание — ровное, глубокое, убаюкивающее — было для Саши той самой колыбельной, которую она не слышала в детстве, той самой молитвой, которую она не знала, тем самым обещанием, что всё будет хорошо, которое никто и никогда ей не давал. Она засыпала под это мурчание — спокойно, без снов, без страхов, без той липкой, удушающей темноты, которая раньше подступала к ней со всех сторон и не давала дышать. Твикс чувствовал её настроение — тонко, безошибочно, словно между ними протянулась невидимая нить, связывающая их сердца воедино. Если Саша грустила — он приходил. Ложился рядом, тёплый и мягкий, и смотрел на неё своими зелёными глазами, в которых было столько понимания, столько сочувствия, столько любви, что слова казались совершенно ненужными. Если Саша плакала — он подходил, тёрся о её руку, лизал пальцы, мурчал громче, настойчивее, словно говорил: «Не плачь. Я здесь. Я с тобой. Всё будет хорошо». И Саша успокаивалась. Не сразу. Постепенно. Но успокаивалась. Потому что с ним — с этим маленьким, серым, невероятным котом — ей было не страшно. Не одиноко. Не больно.

Она рассказывала ему всё — всё, что накопилось в её маленьком, израненном сердце за эти два долгих года. Про школу, где было тоскливо и одиноко, где девочки шептались за спиной, а мальчики не замечали её существования. Про учительницу, которая иногда смотрела на неё с жалостью, и от этого взгляда становилось ещё хуже, потому что жалость — это тоже форма признания твоей слабости, твоей неспособности справиться, твоей неприспособленности к жизни. Про папу — того самого папу, который ушёл два года назад и оставил после себя пустоту, которую невозможно было заполнить ничем — ни игрушками, ни книгами, ни даже Твиксом, потому что некоторые раны не затягиваются никогда, они просто перестают кровоточить, но остаются рубцами на сердце, которые ноют в плохую погоду и напоминают о себе в самые неподходящие моменты. Твикс слушал. Он не перебивал — да и как он мог перебить, если он был котом, пусть даже и самым невероятным котом на свете. Он просто смотрел — своими невозможными зелёными глазами, в которых отражалось всё: и понимание, и сочувствие, и та особая, глубокая, древняя мудрость, которая бывает только у животных, живущих рядом с человеком тысячами и научившихся чувствовать его боль без слов, без объяснений, без всего того, что люди называют коммуникацией. Саша чувствовала — он понимает. Он знает. Он рядом. И этого было достаточно.

Однажды вечером, когда за окном выл ветер и снег бился в стекло, как потерявшаяся птица, Саша сидела на кровати, обхватив колени руками, и молчала. Мама ещё не пришла с работы, и квартира была наполнена той особой, гулкой тишиной, которая бывает только в пустых, холодных домах, где никто не смеётся, не разговаривает, не поёт. Твикс сидел рядом — на расстоянии вытянутой руки, — и смотрел на неё внимательно, не мигая, словно пытался заглянуть в самую глубину её души и понять, что там происходит. Саша повернулась к нему и тихо, почти шёпотом, спросила:

— Твикс, ты меня любишь?

Он посмотрел на неё — долго, серьёзно, так, как смотрят на человека только те, кто действительно его любит, — и потом, медленно, словно обдумывая каждое движение, подошёл, запрыгнул ей на колени, улёгся, свернувшись клубочком, и закрыл глаза. Мурчание — тихое, глубокое, вибрирующее — заполнило комнату, заполнило её сердце, заполнило всё пространство между ними. И Саша поняла — без слов, без доказательств, без всяких «потому что» — да. Любит. Больше всех. Больше всего. Навсегда.

Она обняла его — крепко, так крепко, как только могли обнять худые девятилетние руки, — и прижала к себе. Он не сопротивлялся. Он позволил. Он мурчал. Тихо. Нежно. Тепло. И Саша сказала — прошептала ему в пушистое ухо, в самое сердце, в самую душу:

— Я тебя никогда не брошу. Никогда. Слышишь? Никогда.

Твикс мурчал. Он слышал. Он знал. Он верил. И в этом моменте — в этом простом, тихом, ничем не примечательном моменте — было столько любви, столько тепла, столько того самого настоящего, неподдельного счастья, которое так редко встречается в жизни взрослых людей, погружённых в свои проблемы, заботы, обиды и разочарования, но которое так легко и так естественно даётся детям и животным, не знающим, что такое условности, что такое «правильно» и «неправильно», что такое «надо» и «не надо». Они просто любили друг друга. Просто были вместе. Просто жили. И этого было достаточно.

Мама заметила перемены. Как не заметить, если её дочь — та самая дочь, которая два года просыпалась по ночам от кошмаров, которая боялась темноты, громких звуков и собственной тени, которая почти перестала улыбаться и смеяться, — вдруг начала напевать под нос какие-то песенки по утрам, начала улыбаться, когда думала, что её никто не видит, начала спать спокойно, без слёз, без криков, без того страшного, ледящего душу «мама, мне страшно», от которого у Натальи Сергеевны каждый раз сжималось сердце и подступали к горлу слёзы бессилия и вины. Мама видела, что Саша стала другой — более живой, более открытой, более настоящей. И она понимала, что это благодаря коту. Маленькому, серому, обмороженному коту, которого она не хотела брать, которого она приняла скрепя сердце, со вздохами и ворчанием, но который — она это теперь точно знала — спас её дочь. Спас от того страшного, тёмного, холодного мира, в который Саша начала погружаться после ухода отца, и вернул её обратно — к свету, к теплу, к жизни. И за это Наталья Сергеевна была готова простить Твиксу всё — и шерсть на диване, и порванную штору, и разбитую чашку, и даже ту странную привычку пить воду из-под крана, которая иногда доводила её до белого каления. Потому что счастье дочери — это то, что важнее всего. Важнее порядка, важнее чистоты, важнее денег. Важнее всего.

Так прошла зима — тихая, тёплая, наполненная мурчанием и тихим смехом, — и наступила весна. В марте снег начал таять, побежали ручьи, зазвенели капли, и воздух — тот самый воздух, который зимой был колючим и жёстким, как наждачная бумага, — стал мягким, влажным, пахнущим землёй и пробуждением. Саша любила весну — не потому что она была красивой (хотя она была), а потому что весной всё казалось возможным, всё казалось достижимым, всё казалось настоящим. Весной даже одиночество переносилось легче, потому что вокруг всё оживало, всё двигалось, всё дышало, и ты чувствовал себя частью этого огромного, живого, движущегося мира, а не маленькой, потерянной песчинкой, затерянной в бесконечной, холодной пустоте. Твикс тоже любил весну — он часами сидел на подоконнике, наблюдая за пти-

цами, за прохожими, за всем тем, что происходило за окном, и его хвост подрагивал, а уши поворачивались, ловя каждый звук, каждый шорох, каждый шёпот пробуждающегося мира. Он был счастлив — Саша это видела, Саша это чувствовала, Саша это знала, — и от этого счастья её собственное становилось больше, ярче, полнее.

А потом пришла новость. Та самая новость, которая перевернула всё — их маленький, тихий, устоявшийся мир, их спокойную, размеренную жизнь, их хрупкое, только-только обрётённое счастье. Мама пришла домой радостная — не уставшая, не измученная, не серая, как обычно, а именно радостная, с горящими глазами и порозовевшими щеками, и это было так странно, так необычно, так непривычно, что Саша сразу поняла — что-то случилось. Что-то важное. Что-то, что изменит всё.

— Саша! — мама сняла пальто, повесила его на крючок, прошла в комнату, села на кровать рядом с дочерью. — У меня новость!

— Какая? — Саша отложила книгу, которую читала — про девочку, которая нашла волшебный мир в шкафу, — и посмотрела на маму внимательно, настороженно, потому что хорошие новости в их жизни случались так редко, что она уже почти разучилась в них верить.

— Мне предложили работу. В большом городе. В Петербурге. Хорошую работу. С нормальной зарплатой. Мы сможем снять квартиру — не эту маленькую, тесную, с ободранными обоями и скрипучими полами, а нормальную, просторную, светлую. Ты пойдёшь в хорошую школу — не в эту, где учителя устали и дети злые, а в такую, где тебе будет хорошо. У нас будет всё. Понимаешь? Всё будет по-другому. Лучше. Наконец-то лучше.

Саша замерла. Она смотрела на маму — на её радостное, порозовевшее, помолодевшее лицо, на её горящие глаза, на её улыбку, которую она не видела уже давно, слишком давно, — и чувствовала, как внутри неё что-то происходит. Что-то странное. Что-то противоречивое. Что-то, что не поддавалось описанию. Она должна была радоваться — мама права, это шанс, это выход, это новая жизнь, — но вместо радости она чувствовала что-то другое. Что-то тёмное. Что-то тревожное. Что-то, что свернулось в животе тугим, холодным клубком и не давало дышать.

— А Твикс? — спросила она — тихо, почти шёпотом, потому что голос вдруг отказал, потому что горло сжалось, потому что сердце забилось быстрее, громче, тревожнее.

Мама замолчала. Она посмотрела на Сашу — на её побледневшее лицо, на её испуганные глаза, на её руки, которые инстинктивно сжались в кулаки, — и поняла, что сказала что-то не то. Или не сказала чего-то важного. Или сказала это неправильно — слишком легко, слишком беззаботно, не подумав о том, что для её дочери этот маленький серый кот — не просто животное, а нечто гораздо большее.

— Саша, мы возьмём его с собой. Купим билет. Он поедет с нами. Всё будет хорошо. Я обещаю.

Саша выдохнула. Медленно, тяжело, словно сбрасывая с плеч огромный, невидимый груз, который только что чуть не раздавил её. Она поверила. Она хотела поверить. Она обняла Твикса — который, почувствовав её тревогу, уже подошёл и сидел рядом, насторожённый, внимательный, готовый защитить, — и прижала его к себе. Он мурчал. Он не знал. Он не понимал.

Но он чувствовал — что-то будет. Что-то важное. Что-то, что изменит всё. И он готовился. Как готовятся все, кто любит, — к защите, к борьбе, к жертве.

Они начали собираться. Мама купила билеты — для себя, для Саши, для Твикса. Отдельный билет. В переноску. Всё по правилам. Всё честно. Всё хорошо. Саша складывала вещи — игрушки, книги, одежду, — и с каждым предметом, который она убирала в сумку, её сердце сжималось всё сильнее. Она смотрела на Твикса — который сидел на кровати, на самом краешке, и смотрел на неё своими зелёными глазами, в которых было столько вопросов, столько недоумения, столько тихой, покорной тревоги, — и говорила:

— Ты поедешь с нами. В новый город. У нас будет новая жизнь. Всё будет хорошо. Ты будешь со мной. Всегда.

Твикс мурчал. Он слышал. Он верил. Он не знал, что через несколько дней всё рухнет — что поезд, который должен был увести их в новую, счастливую жизнь, станет поездом, который разлучит их, что ночь, которая должна была стать началом чего-то нового, станет началом самого страшного кошмара в её жизни, что холодная, глухая станция, название которой она даже не запомнит, станет тем местом, где её мир разобьётся на тысячу осколков. Он просто сидел. На кровати. Рядом с Сашей. И мурчал. И был счастлив. Пока. Пока был счастлив.

А Саша — маленькая, хрупкая, девятилетняя Саша с двумя жиденькими косичками и огромными серо-голубыми глазами, в которых уже начинала зарождаться та тихая, упрямая решимость, которая через несколько дней станет её главной силой, — смотрела на своего кота и думала о том, что всё будет хорошо. Обязательно. Непременно. Потому что иначе быть не может. Потому что она не позволит. Потому что она будет бороться. Что бы ни случилось. Что бы ни произошло. Она будет бороться.

Она не знала, что борьба уже началась. Не знала, что враг — равнодушие, жестокость, холод — уже рядом. Не знала, что самые страшные дни её жизни — впереди. Но она знала главное: она не одна. У неё есть Твикс. И пока он рядом — она справится. Со всем. Всегда.

РОМАН: «ТВИКС, ВЕРНИСЬ ДОМОЙ»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «ПОЕЗД, КОТОРЫЙ УВЁЗ ЕЁ МИР»

День отъезда выдался на удивление ясным и морозным — солнце, выглянувшее из-за туч после долгих недель серой, промозглой хмари, заливало город холодным, но всё-таки праздничным светом, словно сама природа решила напоследок порадовать их хоть чем-то хорошим, хоть каплей тепла перед долгой дорогой в неизвестность. Саша проснулась рано — раньше будильника, раньше мамы, раньше всех в этом спящем, притихшем доме, — и первое, что она почувствовала, было не радостное волнение перед новым приключением, не любопытство перед незнакомым городом, который ждал их впереди, а тихая, ноющая, глухая тревога, свернувшаяся где-то под рёбрами тяжёлым, холодным клубком и не дававшая дышать полной грудью.

Твикс спал рядом — на подушке, свернувшись в тугой пушистый клубочек, прижавшись к её щеке тёплым боком, и его мурчание — ровное, глубокое, убаюкивающее — было единственным, что хоть как-то успокаивало Сашу в это утро, наполненное сборами, суетой и тем особенным, щемящим чувством, которое бывает у людей, покидающих дом, где прошла — пусть не самая счастливая, но всё-таки жизнь. Она лежала, не двигаясь, боясь потревожить кота, и смотрела в потолок — на старые, пожелтевшие разводы, на тонкую трещину, пробе-

гавшую от угла до середины, на выцветшую люстру с тремя лампочками, одна из которых давно перегорела, — и думала о том, что видит всё это в последний раз. Завтра — точнее, уже сегодня, через несколько часов — они уедут, и эта квартира, такая маленькая, такая тесная, такая неудобная, но такая родная, опустеет, затихнет, замрёт, как замирает всё, что теряет своих обитателей, свою душу, свой смысл.

Мама тоже не спала — Саша слышала, как она ходит по кухне, как звякает чашками, как шелестит пакетами, укладывая последние вещи, — и в этих звуках было что-то такое, от чего на глаза наворачивались слёзы. Что-то прощальное. Что-то окончательное. Что-то, что говорило: «Всё меняется. Всё уже изменилось. Обратной дороги нет». Саша встала — тихо, осторожно, чтобы не разбудить Твикса, — и прошла на кухню. Мама стояла у окна — худая, уставшая, но с тем особенным, светлым выражением лица, которое бывает у людей, стоящих на пороге новой жизни и всё-таки верящих, что там, за порогом, их ждёт что-то хорошее. Она обернулась, увидела Сашу, улыбнулась — той самой улыбкой, которую Саша не видела уже давно, слишком давно, — и сказала:

— Доброе утро, солнышко. Готова?

Саша кивнула. Она не была готова. Она не знала, как быть готовой. Но она кивнула — потому что надо было кивнуть, потому что мама ждала, потому что отступать было поздно, потому что поезд уже был куплен, билеты уже лежали на столе, и жизнь уже неслась вперёд с той неумолимой быстротой, которая не спрашивает разрешения и не даёт времени на раздумья.

Они позавтракали — молча, торопливо, не чувствуя вкуса еды, — и потом начали собираться. Мама проверяла документы, пересчитывала деньги, укладывала продукты в сумку, и в её движениях была та особая, нервная чёткость, которая бывает у людей, делающих важное дело и боящихся что-то забыть. Саша складывала свои вещи — игрушки, книги, тетрадки, — и с каждым предметом, который она убирала в рюкзак, её сердце сжималось всё сильнее. Она смотрела на Твикса — который сидел на кровати, на самом краешке, и смотрел на неё своими невозможными зелёными глазами, в которых было столько вопросов, столько недоумения, столько тихой, покорной тревоги, — и говорила ему:

— Ты поедешь с нами. В новый город. У нас будет новая жизнь. Всё будет хорошо. Ты будешь со мной. Всегда.

Твикс мурчал. Он слышал. Он верил. Он не знал, что через несколько часов всё рухнет — что поезд, который должен был увезти их в новую, счастливую жизнь, станет поездом, который разлучит их, что ночь, которая должна была стать началом чего-то нового, станет началом самого страшного кошмара в её жизни. Он просто сидел. На кровати. Рядом с Сашей. И мурчал. И был счастлив. Пока. Пока был счастлив.

Они вышли из дома в половине десятого. На улице было холодно — тот особый, колющий, пронизывающий холод, который бывает только в конце января, когда зима уже устала, но всё ещё не сдаётся, не уходит, не отпускает. Саша несла переноску с Твиксом — маленькую, пластиковую, с решётчатой дверцей, — и кот сидел внутри, прижавшись к стенке, и смотрел на неё сквозь прутья своими зелёными глазами, и в этих глазах было столько доверия, столько спокойствия, столько тихой, ни на что не опирающейся веры, что Саша чувствовала, как что-то внутри неё сжимается, сжимается, сжимается — и не отпускает. Она несла его — бережно, как величайшую драгоценность в мире, — и думала о том, что всё будет хорошо. Обязательно.

Непременно. Потому что иначе быть не может. Потому что она не позволит. Потому что она будет бороться. Что бы ни случилось.

Вокзал встретил их шумом, суетой, запахами — дымом, кофе, чужими духами, чужим потом, чужой жизнью, — и Саша почувствовала, как её тревога усиливается, растёт, заполняет всё пространство внутри неё, вытесняя всё остальное. Люди сновали туда-сюда — озабоченные, спешащие, равнодушные, — и в этом людском муравейнике Саша с Твиксом на руках чувствовала себя маленькой, потерянной, никому не нужной песчинкой, затерянной в бесконечном, холодном, чужом мире. Мама держала её за руку — крепко, надёжно, так, как держат только самого дорогого человека, — и вела через толпу к нужному поезду, к нужному вагону, к нужному месту. И Саша шла. Шла, потому что надо было идти. Шла, потому что отступить было поздно. Шла, потому что поезд уже стоял у платформы — длинный, тёмный, гудящий, — и ждал их. Ждал, чтобы увезти. Ждал, чтобы разлучить.

Вагон был старый, прокуренный, пропахший чужими жизнями и чужими дорогами. Они нашли своё купе — маленькое, тесное, на четверых, — и мама начала раскладывать вещи, устраиваться, готовиться к долгой дороге. Саша поставила переноску с Твиксом на полку — рядом с собой, на расстоянии вытянутой руки, — и села рядом, не отрывая глаз от кота. Твикс смотрел на неё сквозь прутья — внимательно, насторожённо, но без страха, — и его хвост медленно двигался из стороны в сторону, словно он пытался понять, что происходит, куда они едут, зачем, почему всё так странно, так непривычно, так тревожно. Саша просунула палец через прутья — и Твикс лизнул его, тёплым, шершавым языком, и это прикосновение, это простое, мимолётное движение наполнило Сашу такой нежностью, такой любовью, такой тоской, что она едва не заплакала. Она сдержалась. Она не хотела плакать. Она хотела быть сильной. Ради Твикса. Ради мамы. Ради себя.

Поезд тронулся ровно в полночь. Саша лежала на боковой полке — верхней, у самой стенки, — и смотрела в окно, на тёмный, уносящийся куда-то город, на редкие огни, на чёрное небо, на мир, который уплывал от неё с каждой секундой. Она не спала. Она не могла спать. Слишком много мыслей, слишком много чувств, слишком много всего того, что не давало закрыть глаза и забыться. Твикс спал в переноске — свернувшись клубочком, прижавшись к решётке, — и его дыхание, тихое и ровное, было единственным, что хоть как-то успокаивало Сашу в этой тёмной, гудящей, уносящейся в неизвестность ночи. Мама спала на нижней полке — уставшая, измученная, но с той особой, светлой улыбкой, которая не сходила с её лица даже во сне, — и Саша смотрела на неё, и думала о том, что всё будет хорошо. Обязательно. Непременно. Потому что иначе быть не может. Потому что мама верит. Потому что Твикс верит. Потому что она сама — верит. И эта вера — хрупкая, тонкая, ни на чём не основанная, но всё-таки вера — была единственным, что держало её в этой тёмной, уносящейся в никуда ночи.

Она задремала. Ненадолго, на несколько минут, на тот короткий, обманчивый промежуток времени, когда сознание отключается, но тело ещё бодрствует, когда сон приходит, но не забирает, когда мир вокруг становится зыбким, нереальным, призрачным. И в этом полусне-полуяви она услышала — или ей показалось, что услышала, — тихий, жалобный, едва слышный звук. Мяуканье. Тихое. Отчаянное. Её имя. Произнесённое на кошачьем языке. Она открыла глаза — и не сразу поняла, что произошло. Переноска была открыта. Дверца — открыта, настежь, нараспашку. Твикса не было. Пустота. Холодная, гулкая, звенящая пустота.

Саша замерла. Сердце остановилось. Потом забилося. Быстро. Громко. Больно. Она села на полке — резко, рывком, не понимая, не осознавая, не веря, — и посмотрела вниз. На пол. На полку. На маму. Твикса не было. Его нигде не было. Он выбрался. Он ушёл. Он исчез. И она не знала куда. Не знала зачем. Не знала, что делать.

Она спрыгнула с полки — тихо, чтобы не разбудить маму, — и пошла по вагону. Осторожно, на цыпочках, вглядываясь в темноту, в тени, в каждый угол, в каждую щель. Она искала его. Звала его — шёпотом, одними губами, чтобы не разбудить спящих, чтобы не привлечь внимания, чтобы не потерять последнюю надежду. Твикс! Твикс! Твикс! Но вагон молчал. Вагон спал. Вагон был полон чужих, равнодушных, спящих людей, и в этом сонном, чужом, холодном пространстве Саша была одна — маленькая, босая, в одной пижаме, — и она искала своего кота. Своего друга. Свою жизнь.

Она нашла его. В тамбуре. У самой двери. Он сидел, прижавшись к холодной, металлической стенке, и дрожал — от холода, от страха, от чего-то ещё, чего Саша не могла понять. Рядом с ним стояла проводница — уставшая, серая, равнодушная женщина с потухшими глазами и жёстким, неприветливым лицом. Она смотрела на Твикса без всякого выражения — так, как смотрят на вещь, на предмет, на что-то неживое, неважное, ненужное, — и в её взгляде не было ни жалости, ни сочувствия, ни понимания. Только пустота. Холодная, серая, равнодушная пустота.

— Это мой кот, — сказала Саша — тихо, но твёрдо, потому что голос вдруг обрёл силу, потому что страх отступил, потому что любовь оказалась сильнее. — Пожалуйста, не трогайте его. Он мой. У него есть билет. Вот. Смотрите.

Она протянула проводнице билет — тот самый, который мама купила, который лежал в кармане, который доказывал, что Твикс не бездомный, не чужой, не ничей, — но проводница даже не взглянула на него. Она посмотрела на Сашу — долго, холодно, без всякого выражения, — и потом сказала:

— Кот без ошейника. Значит, бездомный. Таких в поезде держать нельзя. Я его вынесу. На следующей станции.

— Нет! — Саша закричала — громко, отчаянно, не думая о том, что разбудит весь вагон. — Не смейте! Он мой! Он мой кот! У него есть билет! Посмотрите! Пожалуйста! Не трогайте его!

Но проводница не слушала. Она уже наклонилась — медленно, равнодушно, как машина, выполняющая заложенную программу, — и протянула руки к Твиксу. Твикс зашипел — впервые за всё время, что Саша его знала, — и прижался к стенке, и в его зелёных глазах был такой ужас, такая боль, такое отчаяние, что Саша почувствовала, как что-то внутри неё разрывается, ломается, рушится.

— Пожалуйста! — она схватила проводницу за руку — тонкую, холодную, чужую. — Пожалуйста! Не надо! Он умрёт! Он не выживет! Пожалуйста!

Но проводница оттолкнула её — сильно, резко, без злобы, но и без жалости, — и Саша упала. На холодный, грязный пол тамбура. На колени. На руки. На самое дно своей маленькой, хрупкой жизни. И в этот момент — в этот страшный, тёмный, безнадёжный момент — она

услышала, как хлопнула дверь. Как заскрипел металл. Как что-то — кто-то — остался снаружи. На холоде. В темноте. В пустоте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.